

Иван Савельев

# Постигнуть гения

Размышляя о жизни и творчестве Александра Трифоновича Твардовского, для которого жизнь была творчеством, а творчество — жизнью, я вспомнил о знаменитой пушкинской речи Фёдора Михайловича Достоевского.

Эту речь, ставшую высочайшей оценкой русского гения, Фёдор Михайлович произнёс в Благородном собрании 8 июня 1880 года в связи с открытием в Москве памятника Пушкину.

Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа. Пушкин, говорил Достоевский, есть пророчество и указание. Уже в «Алексе» Пушкин гениально указал нам того несчастного скитальца (добавлю, что и сам Пушкин бы таким же несчастным скитальцем. — И.С.) в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем, который и до сих пор продолжает своё бездомное скитальчество. Конечно, говорил он, нынешние скитальцы наши уже не ходят искать правду к пыганам, но с тоской и желанием веры идут на иную ниву, веруя, что достигнут в своём фантастическом желании счастья не только для себя, но и всемирного. Ибо русскому страдальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться: дешевле он не примирится... И вот скитальца потянуло к простому народу, и что же оказалось — он не только ко всемирной гармонии не готов, но и к простому взаимопониманию с этими детьми природы, ибо он слишком горд, чтобы жить их жизнью, и слишком жаждет всемирного счастья, чтобы не попытаться обучить их своим законам жизни. И они изгоняют его без отщепенца и злобы: «Оставь нас, гордый человек!»

Поэма, конечно, фантастическая, но «гордый-то человек» — реален и впервые схвачен Пушкиным. Более того, здесь уже подкашивается и решение «проклятого вопроса», русское решение по народной правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего слюми свою гордость на родной ниве». Смирись перед правдой народной, перед его трудом — и победишь свою гордость образованного (со всемирной тоской в душе) избранного члена общества. Не у пыган и нигде мировая гармония, если ты первым сам её достоин, злбен и горд и требуешь жизни даром...

И завершает Достоевский свою великую речь о Пушкине удивительными словами: «Жил бы Пушкин далее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров... Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем...»

Но не разгадали мы до конца пушкинской тайны, как, собственно, до сих пор по-настоящему не знаем Пушкина. В своём эссе «Пушкин» Александр Трифонович Твардовский признался: «Я долго самонадеянно полагал, что знаю Пушкина...»

Но только в дни Отечественной войны, в дни острой, незабываемой боли за родную землю... увидел, что до сих пор не знаю Пушкина. С восторгом... я обрел в затёртом томике из походной библиотечки благородную красоту навечных запечатленных мысли и чувства, родной природы, родной земли... всё это моё... и не может быть на земле сына, которая могла бы отринуть это».

Великие слова Твардовского о Пушкине, стоящие в одном ряду со словами Достоевского!

А я открыл для себя тоже неожиданную истину: я не знал и не знаю до сих пор в полной мере Твардовского.

Более того, перечитывая Александра Трифоновича, как бы взглядывая зрением души в каждое его слово, только теперь начинаю осознавать его поистине пушкинское величие и бесстрашие, пушкинскую народность, которая пришла в его поэзию с нашей бедной, подпольной Смоленской земли, точно специально созданной Творцом для бессмертных поэтических строк, освещающих неизбывной тоской, которая всегда несла богатство чувств и мысли в лирику Твардовского, Исаковского, Рыленкова, как несёт она это богатство в поэзию их ныне живущих наследников...

В двадцатом веке было много первоклассных поэтов. Одно упоминание таких имён, как Блок, Есенин, Маяковский, Тихонов, Луговской, Багрицкий, Заболоцкий, Смельков, Марты-

нов, всё ставит на свои места, — это выдающиеся мастера поэтического Слова, и их ряд может быть продолжен. Но кого из них, не умаляя значения созданных ими поэтических шедевров, можно назвать народным поэтом в пушкинском, классическом понимании данного определения?

Блока? Нет. Есенина? Нет. И уж тем более не Маяковского. Им стал Александр Трифонович Твардовский, соединивший, синтезировавший в своей поэзии классическую ясность Музы Пушкина с Музой гнева и печали Некрасова, явивший собою в двадцатом веке Поэта нового, доселе невиданного качества.

Обманчива и порой недоступна для истинной оценки Муза Твардовского; обманывает её внешняя простота, как обманчива была простота Музы Пушкина: его поэзия, как известно, до сих пор не перевелась стихами, равновеликими оригиналу.

У настоящего Мастера не видно мастерства. Как, скажем, в этом стихотворении Твардовского, написанного в 1939 году:

*Рожь, рожь... Дорога полевая  
Ведёт неведомо куда.  
Над полем низко провисая,  
Лениво стонут провода.  
Рожь, рожь — до свода голубого.  
Чуть видишь — где-нибудь вдали  
Нырнет шапка верхового,  
Грузовичок плывёт в пыли.  
Рожь уходит. Близи сроки.  
Отяжелела и на край  
Всем полем поддалась к дороге,  
Нависнула — хоть подпирай.  
Знать, колос, тую начинённый,  
Четырёхгранный, золотой,  
Устал держит пуды, вагоны,  
Составы хлеба над землёй.*

Художественная, образная безупречность этого стихотворения настолько убедительна и всеохватна своими поэтическими тропами, что так и хочется выписать целые строки, отдельные фразы и поместить их как образцы эпитетов, развёрнутых метафор, которые накрывают собою весь поэтический шедевр Твардовского.

У же не говорю о значении в стихотворении глаголов: они так зримо вылетены в образное поле стиха, что каждый колос воспринимается как земледелец, труд которого окупился сторицей.

И хотя в стихотворении ничего не говорится о том, на чём — колхозном или хуторском — поле созрели «куды, вагоны, составы хлеба над землёй», все приметы коллективного труда налицо: и верховой, обеззающей огромное поле (не клин!) ржи, и «грузовичок, плывущий в пыли», и «вагоны хлеба», которые и не слыли крестьянина в досоветское время. Это не «неясная полоска» Николая Алексеевича Некрасова и не пушкинское «рабство тощее», которое «влечется по браздам Неумолимого Владельца».

Вот как широк, — простираясь во времени на целые столетия, — ассоциативный ряд этого классического в своём художественном совершенстве и социальной значимости стихотворения Твардовского, на тему которого, говоря словами Михаила Васильевича Исаковского, можно написать целую поэму.

Если же говорить о трёх поэмах («Василии Теркине», «Теркине на том свете» и «По праву памяти»), то они представляют собой своеобразную «Божественную комедию» поэта. Но, в отличие от «Божественной комедии» Данте, у Твардовского — всё из живой жизни, страшной, жестокой жизни сталинско-брежневских десятилетий, где ад-чистилище-рай стали мёртвой жизнью для народа. Да, ад войны (поэма «Василии Теркине») сменился адом «чистилища» («Теркине на том свете»), а «рай» послевоенный стал уже для самого Твардовского «раем» того света, где его прославленный герой, победивший в годы войны во имя настоящего рая для народа, оказался в тисках номенклатуры, — отец народов царствовал и там.

Поэма «Теркине на том свете» написана в духе едкой сатиры Салтыков-Щедрин: «тот свет» — это мир полевых, который дулся целковой партноменклатурой, и если Теркин вернулся с того света, то для самого Твардовского он оказался последним прибежищем.

Но и великая поэма «По праву памяти» — это тоже сконцентрированная «Божественная комедия», ибо её три части — «Перед отлётом» — «Сын за



## Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ

(1910 — 1971)

100-летию  
великого поэта  
посвящается

отца не отвечает» — «О памяти» — три временных пласта, слитые воедино сталинско-брежневским произволом, — посему и пишу я эти названия-поэмы сознательно через дефис, как неразрывное явление одного духовного, а если быть точным — антидуховного ряда.

Исход борьбы с властью, ничего общего не имевшей с подлинной Советской властью, кою практически похоронил после смерти Владимира Ильича Сталин, от лица которого цинично она выступала, был для Твардовского предсмерть. Но меня сейчас интересует сам Твардовский: вдруг он ошибается, вдруг Сталин прав и послал семью Поэта по справедливости?

Обращаясь к такому авторитету в области экономики, как Александр Николаевич Энгельгардт, который на сей счёт писал: «Каждый мужик в известной степени кулак... при случае кулак, эксплуататор, но пока он земелный мужик, пока он трудится, работает, занимается своей землёй, это ещё не настоящий кулак».

Почему так? А потому что он, пишет Александр Николаевич, «не изнужд своё благосостояние на нужде других, а изнужд его на своём труде».

Этого зажиточного мужика, который «работает сам с семьёй, имея одного, двух батраков» (причём наём рабочей силы носит в этом случае не систематический постоянный, а обычно временный, сезонный характер), от «настоящего кулака» отделяет, по Энгельгардту, дистанция огромного размера.

«Настоящий кулак, — пишет он, — это "ростовщик-процентщик"». И Александр Николаевич даёт ему практически ленинское определение: «Этот кулак ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги... Этот кулак землёй занимается так себе, между прочим, не расширяет хозяйства, не увеличивает количество скота, лошадей, не расширяет земель. У этого всё зиждется не на земле, не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он торгуется, который раздаёт в долг под проценты. Его кумир — деньги, о приумножении которых он только и думает».

Надеюсь, что читатель понимает, к какому разряду «кулаков», а вернее настоящих труженников на земле относился отец Твардовского Трифон Гордеевич, — и таких «кулаков», как он, были тысячи и сотни тысяч, о судьбе которых в сталинской зоне, со слов матери, говорил Александр Трифонович: «Мне мать рассказывала, а она не соврёт. Пошла однажды в лес за малиной. В Зауралье это было... Подумать только, сколько людей, не видевших областного города, были вырваны из родных гнёзд и заброшены против желания, против воли на край света. И вот увидели в лесу бараки. Зашла в них. И запах уже не запах, а что-то такое... И видит, лежат вповалку мертвяки... Некоторые сидят за столом, другие прислонились к стене... Кто сидел за столом, уткнувшись в доску, так и застыл и умер, и уже сил не было, чтобы подняться и хотя бы лечь. И уже не трупы, а что-то высохшее, оголённое, но ещё и не скелеты... Мать бросилась бежать, а там другой барак, третий. Всё это окружено проволокой и никакой, конечно, охраны — ушла, нечего охранять».

Там и были сталинские «кулаки». Жутко! Чудовищно! Советую прочитать эти строки тем, кто до сих пор восхваляет «товарища Сталина, верного наследника Владимира Ильича Ленина», хотя желанье моё навечно, — этих уже никогда не переубедишь, ибо они верны отцу народу.

А тот мог лавировать, убеждать, и на первых порах крестьяне поверили ему, поскольку коллективный труд они принимали как социальное благо, но обернулось-то оно в итоге сталинской зоной, — и тут отец народов сумел уйти от личной ответственности, о чём хорошо сказано у Твардовского:

*Да, он умел без оговорок,  
Внезапно —  
Как уж припечёт —  
Любой своих прорёт ворах  
Перенести на чей-то счёт;  
На чьё-то вражье искажение  
То, что возмездие завет.  
На чьё-то головокружение  
От им предсказанных побед.*

И «переносил», да так искусно, что простой люд по-прежнему молился на него, великого и непогрешимого Вождя и Бога, неукоснительного исполнителя великих ленинских заветов.

Так наступила в стране энтропия Духа и Труда — то самое выравнивание, о чём написано в гениальной «Пирамиде» Леонида Леонова и в поэмах Твардовского «Теркин на том свете» и «По праву памяти».

Всё это в итоге привело к обезличиванию личности в казарменном социализме Сталина и, как следствие, к деградации сельского хозяйства и бегству молодёжи из сталинского «рая», куда насильственно загнали крестьянство страны.

Но был ли иной путь коллективизации? Разумеется, был.

Его предлагали выдающиеся русские аграрии Александр Васильевич Чаынов и Николай Дмитриевич Кондратьев (его книга «Рынок хлебов» имела в личной библиотеке Ленина; не отсюда ли берёт свое начало ленинский нап?). Это был путь подлинной кооперации, который базировался на главном тезисе Кондратьева: «Здоровый рост сельского хозяйства предполагает... мощное развитие индустрии, ибо он приведёт к устойчивости всего народного хозяйства, в том числе и процесса индустриализации».

Но Сталин знал всё лучше всякого учёного и, свернув ленинский нап, поставил крест на чаыновской и кондратьевской кооперации и индустриализации, а самих великих аграриев постигла трагическая судьба: некто Агранов, веселый деятель НКВД, умевший хорошо выколачивать показания, получил-таки их от Кондратьева и Чаынова. Имя Кондратьева исчезло на 60 лет, а Чаынов после пятилетней ссылки в Казахстан был приговорён Особым совещанием при НКВД СССР к смертной казни, и великий учёный в тот же день, 3 октября 1937-го года, был расстрелян.

Знал ли об этом Сталин? Конечно же, знал, ведь без его властно-неукоснительного жеста, как известно, не могло упасть ни одного волоса ни с одной головы.

Что же касается «кулачества» отца и земли, на которой он работал, то Твардовский пишет: «Земля — это десять с небольшим десятин, — вся в мелких болотках, заросшая лозняком, ельником, берёзкой, — была во всех смыслах невидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святого».

И отец решил жить с землёй и с землёй; что же как-то сводить концы с концами; из-за низких урожаев он то и дело обращался к молотку — арендовал в отходе чужой горы и наковальню, работая исполу, от зари до зари.

Об этих трудовых руках отца у Твардовского написаны жёсткие, но не опровергаемые в своей оголённой правде слова:

*В узлах из жил и сухожилий,  
В мостах поскроченных перстов —  
Те, что — со вздохом — как чулки,  
Сядь к столу, он клад на стол.  
И, точно граблями, бывало,  
Цепляя,  
Ложки черенок,  
Такой увёртливый и малый,  
Он хватит не сразу мюг.  
Те руки, что своею волей —  
Ни разознеть, ни сжать в кулак:  
Одальных не было мозолей:  
Плодная —  
Подлинно — кулак!*

Против этих «сплошных мозолей» крестьянина-труженника, а не нахлебника-халыщика, и была направлена безжалостная репрессивная машина «отца народов», — и наступила в стране энтропия Духа и Труда — то самое выравнивание, которое в итоге привело к обезличиванию личности в казарменном социализме Сталина и — как следствие этого — к деградации всего сельского хозяйства и повальному бегству молодёжи из сталинского колхозного «рая».

В поэме «По праву памяти» есть строфы, показывающие, насколько был глубок разрыв между Сталиным и Лениным, у гроба которого будущий «отец народов» принародно клялся быть верным его великому делу:

*Но всё, что было, не забыто,  
Не шито-крыто на миру.  
Одна неправда нам в убыток,  
И только правда ко двору.  
А я — не те уже годочки —  
Не втираю я себе отrockи  
Предоставлять.  
Гора бы с плеч —*

Как и герой его исследования А. Т. Твардовский, великий поэт России, Иван САВЕЛЬЕВ, поэт, публицист и прозаик, родился в 1937 году на Смоленщине.

Окончил МГУ и Академию народного хозяйства при правительстве РСФСР. Работал в газете «Правда». Автор нескольких десятков стихотворных книг. Лауреат Международной премии им. М.А. Шолохова, кавалер «Ордена В.В. Маяковского». Член Союза писателей России. Проживает в Москве и на своей малой родине в Холми-Жирках (Смоленская обл.). Своими учителями считает Твардовского, Антокольского и Михаила Светлова, давшего ему путёвку в профессиональную поэзию. Любит повторять, что у поэта есть одна только привилегия: поэт обязан каждый миг быть в Слове; если поэт выйдет из Слова — выйдет и из судьбы.

*Ещё успеть без проволоочки  
Немую боль в слова облечь.  
Ту боль, что скрытно временами  
И встарь теснила нам сердца  
И что глушили мы громами  
Рукоприкладный в честь отца.  
С предельной силой в каждом зале  
Они гремли потому,  
Что мы всегда не одному  
Тому отцу рукоприкладали.  
Всегда, казалось, рядом был,  
Свою земную одавший смену,  
Тот, кто оваций не любил,  
По крайней мере знал им цену.*

И уже — как ров, наполненный смертоносной, отравленной водой разрыва между ними, — кипела волна набата:

*Чей образ вечным и живым  
Мир уберёт за гранью брешной,  
Кого учителем своим  
Именовал отец смиренно...  
И, грубо сдвоив имена,  
Мы как одно их возглашали,  
И заносили на скрижали,  
Как будто суть была одна.  
Но всё, что стало или станет,  
Не сдать, не сбить нам с рук своих,  
И Ленин нас судить не станет:  
Он не был боем и в живых.  
А вы, что ныне норовите  
Вернуть былую благодать,  
Так вы уж Сталина зовите —  
Он богом был —  
Он может встать.*

Да, такой правды не могла пропустить Твардовскому всевластная и всевластная в своей безнаказности брежневско-сусловская власть. Вкупе с той правдой, чем дышала талантливая новомировская проза времён Твардовского, эта правда открыла мысленному читателю глаза на «верных ленинцев», — посему рубить его надо под корень.

И власть рубила Поэта: он смертельно слёг; но свою страшную болезнь (у него была парализована правая половина тела) переносил так же достойно, как достойно и мужественно нес невыносимое бремя староплощадной травли.

С Твардовским повторилось, как с Пушкиным: если Александра Сергеевича рукой Дантеса убили царь, о чём сказала блистательная Марина Цветаева:

*Зорче глядя!  
Не забывай:  
Певцуубийца  
Царь Николай  
Первый... —*

то Александра Трифоновича медленно, но верно сводил в могилу брежневско-сусловский молот.

О предчувствии близкого конца Твардовский написал, уже отстранённый от руководства «Новым миром», в своём последнем стихотворении от 4 июня 1970 года:

*Не впасть бы мне в чрезмерную  
гордыню  
(Соблазн велик, всем прочим  
не ровня)  
По поводу забот, с какими  
ныне  
Стремится Власть окоротить  
меня.*

И если сказано здесь о творческом «окоротении» (на столе у Брежнева лежала в то время поэма «По праву памяти»), которую генсек категорически запретил публиковать, видя в ней намёк на свой собственный культ), то между строк уже читается о физическом укоротении жизни последнего великого и — подчеркну ещё раз! — самого советского русского поэта.

Мастерство настоящего Поэта, как известно, проявляется в миниатюре, где каждое слово, как говорят в народе, на вес золота:

*Июль — макушка лет, —  
Напомнила газета,  
Но прежде всех газет —  
Дневного убьёт света;  
Но прежде малой этой,  
Скрытнейшей из примет, —  
Ку-ку, ку-ку — макушка —  
Отступалка кукушка  
Процеливой свой привет.  
А с липового цвета  
Считай, что песня спета,  
Считай, пол-лета нет, —  
Июль — макушка лета.*

ная, но ею Твардовский так искусно пользуется, что сама рифма проясляет смысл, содержание стихотворения, помогает запечатлеть, как сказал бы Михаил Михайлович Пришвин, «мгновения быстротекущей жизни».

Форма проясляет смысл — вот фундаментальный принцип Твардовского, которому Поэт неукоснительно следует в любой своей вещи, будь то объёмная поэма или миниатюра, как эти гениальные строки, вставившие в себя весь трагический опыт-память войны:

*Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли  
с войны,  
В том, что они — кто старше, кто  
моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь,  
Речь не о том, но всё же, всё же,  
всё же...*

Эта последняя строка, которая долго не приходила к Поэту, с душевного шёпота-памяти переходит постепенно к скорбному молчанию, — точно само Слово стоит у Вечного огня или у памятника в Смоленске, выносясь — без вины — перед всеми погибшими на Великой Отечественной...

Твардовский не любил белые стихи, ибо они лишены главного — рифмы, без коей (за редкими исключениями, как у того же Багрицкого) стих становится полупрозой.

Но и он оставил нам образец белого стиха, который так плавно течёт, что мы не обращаем внимания на отсутствие рифмы (это стих о повторяющемся сне: наверняка подобный сон снится каждому):

*Который год мне снится,  
повторяясь  
Почти без изменений, этот сон.  
Как будто я, уже с войны  
вернувшись,  
Опять учиться должен  
в институте  
И полон вновь школярского  
тревогой,  
Как зазубрить лежальные науки.  
И страшно мне и горько  
осрамиться  
В той юности, моей второй  
иль третьей.*

Его юность — вторая, третья и последняя, предсмертная — была тяжко омрачена не отпускающей болью: в первой юности в обкоме ВКП(б) его принудили отказаться от отца, «кулака», как там считали, руководствуясь сталинским определением этого понятия, — иначе путь в поэзию (а без неё он лишился смысла жизни) ему будет заказан.

Твардовский жил с этой болью до последних дней. И даже когда была написана поэма-покаяние «По праву памяти», боль эта не отпустила его сердца, — брежневско-сусловский режим, прямой наследник сталинского культа, запретил, что уже отмечалось выше, публикацию великого произведения Твардовского, в котором он так сказал об «отце народов», как ни до него, ни после него не сказал никто.

В прозе это сделал, о чём я уже написал и о чём следует сказать ещё раз, Леонид Леонов в своей гениальной «Пирамиде», — так два гения русской советской литературы поднялись, встав рядом, на трагическую и величественную Вершину, сияющую правдой жизни, увенчанной Словом, ей равновеликим.

...Прошли годы.

Время всё расставило по своим местам. Временщики — и властные, и околовластные — ушли в небытие. И, как бы прощаясь с ними, он простил им, за полтора года до смерти, политический памятник — убийственное стихотворение, которое я привожу здесь полностью:

*Маркс, Энгельс, Ленин, знать бы вам  
В посмертном вашем чине,  
Каким учёным соловом  
Мы вас препоручили.  
Вам вконец слава и почёт,  
Да и впоодиночке,  
А что писали — на учёт,  
И под контроль до строчки.  
Ни шагу нам ступить без вас,  
Но ваших целей ради  
За вами нужен глаз до глаза,  
По обстановке глядя.  
И худо надобно остро  
Держать — при вас известно:  
Ведь что уместно на бюро,  
Зачем же повсеместно.  
Ведь вы для красного словца,  
В избытке увлечения  
Верны порой не до конца  
И своему учению.  
Вас мягко Сталин поправлял,  
Того вам было мало.  
Учтите, глядя за штурвал  
Небесный житель Мао.*

Да, все они канули в небытие, а Твардовский на небосклоне нашей Поэзии — рядом с Пушкиным — сияет звездой первой величины.

И если Марина Цветаева, говоря о непреходящем значении творчества Маяковского как «первого поэта масс», написала, что «обращаться на Маяковского нам, а может быть, и нашим внукам, придётся не назад, а вперёд», то — добавлю я — нам надо обращаться не назад, а вперёд к Александру Трифоновичу Твардовскому как к первому и последнему народному поэту двадцатого столетия.